Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Оммаж Симоне Вейль
«…решиться представить себе свободу»
2020

Скопировано 20.01.2024 с
https://liberadio.noblogs.org/?p=2434
Также на https://www.nihilist.li/2020/12/08/reshitsya-predstavit-sebe-svobodu-ommazh-simone-vejl/

ru.anarchistlibraries.net

Оммаж Симоне Вейль

«…решиться представить себе свободу»

2020

Считается, что она была всем понемножку: марксисткой, анархисткой, интеллектуалкой, резко критиковавшей марксизм с анархизмом, политической философиней, дочерью среднего класса, неквалифицированной фабричной рабочей, еврейкой, гностической католичкой, феминисткой, пацифисткой и воинственной антифашисткой. Вероятно, она могла всем этим быть, причём одновременно, именно потому, что не хотела быть ничем из вышеперечисленного. Ничем исключительно. На это надо решиться. Может быть, в этом и кроется причина тому, что Вейль интересна лишь немногим. Католики тянут её на свою сторону, анархисты — к себе. Одни считают, что где-то в её довольно короткой жизни можно определить некие «переломные моменты», после которых она отдалилась от социал-революционной деятельности и ушла в религиозное созерцание; другие же, наоборот, подчёркивают «последовательность»: христианская этика не противоречит активной деятельности на стороне всех угнетённых. Образованная публика периодически вспоминает о ней: уже давно считается нормальным, время от времени (са-

мо)иронично вспоминать о мёртвых революционерах и других полоумных, которые в конце 1960-х воодушевляли неспокойную молодёжь. Иногда ей пользуются как Альбером Камю, ради самоубеждения, что образованная публика, де, стоит на верной стороне баррикад, не вдаваясь в подробности, что это за баррикады и насколько это серьёзно[1]. Философский курьёз, «красная дева», этакий женский Ницше, сумасшедшая и, в конечном счёте, совершенно бесполезная. Лично меня Симона Вейль заинтересовала много лет назад, и мне кажется приемлемым поинтересоваться у столь непрактичной персоны об общественной практике и вне юбилеев и круглых дат.

---

[1] *Так, например, Сьюзан Зонтаг в 1963-м году: „There are certain eras which are too complex, too deafened by contradictory historical and intellectual experiences, to hear the voice of sanity. Sanity becomes compromise, evasion, a lie. Ours is an age which consciously pursues health, and yet only believes in the reality of sickness. The truths we respect are those born of affliction. We measure truth in terms of the cost to the writer in suffering—rather than by the standard of an objective truth to which a writer's words correspond. Each of our truths must have a martyr. (...) Some lives are exemplary, others not; and of exemplary lives, there are those which invite us to imitate them, and those which we regard from a distance with a mixture of revulsion, pity, and reverence. It is, roughly, the difference between the hero and the saint (if one may use the latter term in an aesthetic, rather than a religious sense). Such a life, absurd in its exaggerations and degree of self-mutilation—like Kleist's, like Kierkegaard's—was Simone Weil's. I am thinking of the fanatical asceticism of Simone Weil's life, her contempt for pleasure and for happiness, her noble and ridiculous political gestures, her elaborate self-denials, her tireless courting of affliction; and I do not exclude her homeliness, her physical clumsiness, her migraines, her tuberculosis. No one who loves life would wish to imitate her dedication to martyrdom nor would wish it for his children nor for anyone else whom he loves. Yet so far as we love seriousness, as well as life, we are moved by it, nourished by it. In the respect we pay to such lives, we acknowledge the presence of mystery in the world—and mystery is just what the secure possession of the truth, an objective truth, denies. In this sense, all truth is superficial; and some (but not all) distortions of the truth, some (but not all) insanity, some (but not all) unhealthiness, some (but not all) denials of life are truth-giving, sanity-producing, health-creating, and life-enhancing“ — источник.*

как вопросы, поставленные Симоной Вейль, так данные ей верные и неверные ответы — о революционном насилии, этике коллективных действий и организации трудовых отношений. Не стоит ждать, что случайно произошедшая «правильная» революция сама ответит на них, как это часто происходит в фантазиях пылких юношей. От ответов зависит, возможен ли вообще социализм с человеческим лицом, где «прямохождение» является его предпосылкой и результатом.

Биография Вейль изучена достаточно хорошо, при достаточном интересе не составит особого труда получить относительно полную картину её жизни в историческом контексте. Поэтому я ограничусь лишь общей информацией. Симона Вейль родилась в 1909-м году в обеспеченной еврейской семье в Париже, получила отличное образование и стала, в конце концов, преподавательницей философии. Интересовалась политикой и общественными конфликтами, часто выступала с поддержкой борьбы рабочих и безработных, что и принесло ей прозвище «красной девы». Она была участницей анархистских кружков и революционно-синдикалистских профсоюзов, читала коммунистические газеты, спорила с Троцким и де Бовуар. «Опыт показывает, что революционная партия, по формуле Маркса, вполне может завладеть бюрократическим и военным аппаратом, но не может его разбить. Для того, чтобы власть действительно перешла к рабочим, они должны объединиться, но не вдоль иллюзорных линий, возникающих из собрания одинаковых мнений, а вдоль реальных связей сообщества, возникающих из функций производственного процесса», писала Вейль в начале 30-х годов, выступая против устремлений Коминтерна подчинить себе профсоюзы. В то же время она придерживалась глубоко индивидуалистской позиции: «Вспомним же, что высшую ценность мы приписываем индивиду, не коллективу. (...) Только в человеке, в индивиде, мы находим намеренность и силу воли — единственные источники эффективного действия. Но индивиды могут объединять свои действия, не теряя при этом своей независимости».

Где-то в 1933-м она отдаляется от слабеющего синдикалистского движения и становится — не в последнюю очередь после прихода к власти в Германии Гитлера при тихом содействии социал-демократов и Коминтерна – всё более скептичной, что касается политики вообще.

«У коммунистов, социалистов или синдикалистов той или иной тенденции нет более ясного и точного понимания нашего общества, чем у буржуазии, консерваторов или фашистов. Даже если бы рабочие организации обладали лучшим знанием (что, однако, не так), у них не было бы необходимых инструментом действия. Практически, наука — ничто без технического ресурса; она их не производит, она только позволяет ими воспользоваться. Ещё более неверным было бы утверждать, что наука позволяет предвидеть скорую победу дела трудящихся. Это неверно, и по-хорошему в этом вообще нужно усомниться, если только упрямо не закрывать глаза. Ничто не позволяет уверять рабочих, что им нужно выполнить некую миссию, „историческую задачу“, как говорил Маркс, которая им отводится ради спасения человечества. Ничто не даёт основания полагать, что им можно поручить эту миссию скорее, чем рабам античности или крепостным Средневековья. Подобно рабам и крепостным они несчастны, несправедливо несчастны. Правильно, что они защищаются, было бы прекрасно, если бы они освободились; большего сказать нельзя. Иллюзии, распространяемые языком, плачевно сочетающим в себе общие места религии с общими местами науки, вредят им. Так как они пробуждают веру в то, что всё это делается легко, современный бог по имени Прогресс гонит их вперёд, современное провидение по имени История сделает за них главное усилие. В конце концов, ничто не позволяет обещать им в конце этой борьбы наслаждение и благодать. Легкомысленная

Тем не менее, в 1934-м году она писала в «Причинах свободы и общественного угнетения»:

> «Попытки избавиться от угнетения при сохранении техники тут же приводят к такому подчинению и бездействию, что почти всем участвовавшим в них пришлось склонить свои шеи под ярмо: этот опыт был проделан в малом в производственных артелях и в большом — во время русской революции. Может показаться, что человек рождён рабом и для рабства. (...) И тем не менее, ничто в мире не может лишить человека чувства, что он рождён для свободы. Что бы ни случилось, он никогда не может смириться с рабством, т.к. он способен к мышлению. Он никогда не переставал мечтать о безграничной свободе, будь то в форме минувшего счастья, которого он лишился в наказание, или же счастья будущего, гарантируемого ему пактом с загадочным провидением. Представленный Марксом коммунизм является самой современной формой этой мечты. Мечта эта осталась праздной, как и все мечты; если она была утешением, то только как опиум. Пришло время не просто мечтать о ней, но решиться представить себе свободу».

Эрнст Блох, в преклонном возрасте расставшийся с ГДР и своими сталинистскими убеждениями, став одним из героев для бунтующих студентов конца 60-х, любил говорить, что для того, чтобы человечеству развить «ортопедию прямохождения» в истории, нужно начать ходить прямо. Не нужно ждать, пока «созреют» условия или «социалистическая» бюрократия даст на это разрешение. Либертарному социализму придётся принять во внимание

жертвенность в «социальной войне» и сравнивал боевые профсоюзы с монашескими орденами. «Нельзя сыскать свободы в единичном действии, но только в акциях, которые человек предпринимает совместно с другими людьми и ради других людей, или же — с Богом или ради Бога: ибо Бог есть миф человечества».

Такие мысли могли в конечном итоге привести её только к христианскому богу искупления, который только и мог вмешиваться в земные дела, а однажды, вероятно, мог бы и пробить тотальность этого несправедливого мира, не пачкая при этом своих божественных рук. Симона Вейль так часто была готова пострадать и даже погибнуть за справедливое дело, но её мысль капитулировала перед необъятностью и непрозрачностью общественных процессов. Этим, видимо, и объясняется, несмотря на невероятно ясный взгляд на проблемы общества, та гротескная программа по «укоренению», находящаяся, в лучшем случае, на уровне таких социалистов-утопистов как Шарль Фурье или Сен-Симон (последний, кстати, считается одним из основателей социальной доктрины католической церкви); из стремления к свободе развивается обязанность к подчинению.

Когда ей в 1942-м из-за антисемитского законодательства было отказано в восстановлении в должности школьной учительницы, она написала письмо в министерство образования, где объясняла, что «никогда не считала себя еврейкой», а посему не видит и причин отказывать ей в восстановлении. Хотя её исполненная глубоких сомнений негативная теология привела её практически к средневековому гнозису и иудаизму, она исповедовала типичный христианский антииудаизм. Оный часто подвергался цензуре её переводчиками (например, в «Тяжести и благодати») и остался неизвестен её не владеющим французским религиозным почитателям.

> ирония принесла много вреда обесцениванием высокого идеализма, аскетичного духа социалистических групп начала 19-го столетия; она не принесла ничего, кроме унижения рабочего класса...» («Opression et liberté»)

Она критикует марксизм как наивысшее выражение буржуазного общества, которое необходимым образом не могло понять, что перемена юридических титулов собственности не могла покончить с нищетой. Необходимы радикальные перемены в трудовых отношениях. Трудящиеся массы не просто унижаются до простых придатков средств производства, они страдают не только физически — не в последнюю очередь речь идёт о деградации ума, (потенциально) сопротивляющегося мышления. Речь о том, что массы одновременно удерживаются в пассивности и постоянной мобилизации. В 1934-м она пишет в «Размышлениях о причинах свободы и общественного угнетения» (Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale):

> «От людей ожидать нечего, и если бы это было иначе, они с самоого начала были бы побеждены силой вещей. Существующее общество не предоставляет никаких средств для действия, кроме машин для перемалывания всего человеческого; какими бы ни были намерения тех, кто за них берётся, машины эти перемелют всё, пока они существуют. (...) При помощи пушек, самолётов или бомб можно сеять смерть, страх или угнетение, но не жизнь или свободу. При помощи противогазов, бомбоубежищ или сирен тревоги можно вырастить жалкие стада боязливых тварей, отдающихся самым сумасшедшим тиранам и благодарно приветствующих

> самые зловредные тирании, но не граждан. При помощи радио и прессы можно целый народ кормить на завтрак или на ужин заранее заготовленными мнениями и сводить их тем самым ad absurdum, ибо и разумные мнения выворачиваются наизнанку и становятся фальшивыми, когда голова бессмысленно воспринимает их. (…) А без фабрик, оружия и прессы нельзя ничего поделать с теми, кто всем этим владеет».

Возникает ощущение, что Вейль со своим диагнозом происходящего приближается к исследовательским целям Франкфуртской школы. Так, она диагностирует объективную склонность масс ко всяческому мракобесию, религиозности в самом дурном смысле этого слова, к теориям заговора, антисемитским слухам и т.п.:

> «Как это часто бывает, умственное смятение и пассивность подстёгивают фантазию. Повсюду люди одержимы представлением об общественной жизни, которая хотя и различается существенно в различных кругах, но всегда состоит из мистерий, оккультных качеств, идолов и ужасных образов; каждый верит в то, что власть таинственным образом принадлежит одному из тех кругов, который для человека закрыт, т.к. почти никто не понимает, что она не лежит нигде, так что преобладающим чувством является тот глубокий страх, возникающий из-за утраты связи с реальностью».

Несмотря на то, что всю жизнь она была болезненной и довольно хрупкого телосложения, в конце 1934-го года она устраивается работать на фабрику, прямиком в промышленный ад, чтобы на собственном опыте узнать, как

В 1943-м она заболевает туберкулёзом и умирает 24-го августа в возрасте 34-х лет от последствий истощения, т.к. отказывалась от еды пока во захваченной Франции голодают люди.

Что для Вейль было важным во время её революционно-синдикалистской молодости, да и затем, после близкого знакомства с католическим божеством — это было, пожалуй, действие «чистое» в своих средствах и целях. Именно по этой причине она полагалась на анархистскую, антибюрократическую организацию и действие трудящихся, которые должны были позволить им объединить свои силы и, тем не менее, не делегировать свои решения какой-либо высшей инстанции, чтобы ни один индивид не оставался позади коллектива. Это классическая дилемма средств и целей политического действия, которая при случае может лишить организации (для Вейль это, в первую очередь, партийные организации) всяческих этических принципов и превратить их в аппараты получения и удержания власти.

Этот анархический скепсис в отношении организационных форм исторически возник не без причин. Вопрос не решён до сих пор: как в организации должны сочетаться этика и эффективность? Приемлемо ли вообще предъявлять к собственной (анти)политической организации моральные требования? Или это применимо только к её членам? Способны ли синдикалистские милиционеры во время войны сделать революционное насилие ненужным? Отчаявшись найти ответ на эти и подобные им вопросы, Вейль отвращается от всего, что по её мнению хотя бы отдалённо пахло «нечистыми», компромиссными политическими сделками, от всего, что искажало «чистое» действие — кроме оборонческого пацифизма. Возможно, такая позиция необъяснима без влияния Жоржа Сореля в её молодости. Сорель, как известно, пропагандировал

дарство объединяет рабочий класс посредством частной собственности, а крестьянство — посредством религиозности и искусства в новую национальную крестьянско-ремесленническую общность. Государство становится священным, т.к. служит «святой цели укоренения». Но «идола» делать из него всё же нельзя. Оно остаётся средством для достижения нового сообщества, а это средство ещё предстоит изучить: «Социальные науки — это изучение Великого Зверя и должны описать его анатомию, психологию, его естественные и приобретённые рефлексы, возможности его дрессировки». Рабочие же, при всей новой радостной жизни, не должны забывать, как подчиняться и постепенно превращаться в мёртвую материю. При чтении «Укоренения» невозможно избавиться от чувства, что на самом деле читаешь Хайдеггера:

> «Сказать Да физическому труду — после смерти это самая совершенная форма благодетели подчинения. (…) Это более чем очевидно, если, как в античные времена, рассматривать пассивность твёрдой материи как совершенство послушания, а красоту мира – как блеск совершенного подчинения. (…) Физический труд есть ежедневная смерть. Трудиться — значит своё собственное существо, тело и душу, вкладывать в круговорот твёрдой материи, делать его (своё существо) посредником между одним и другим состоянием некоего фрагмента материи, делать его инструментом. Рабочий создаёт из своих тела и души продолжение инструмента, которым он работает. Движения тела и внимательность ума функционируют так, как этого требует инструмент, в свою очередь приспособленный к объекту труда».

ощущается рабочими «реальное подчинение труда капиталу». Из этого периода до нас дошла разрывающая сердце документация жизни обычной фабричной работницы. Жизни, состоящей только из унижения, телесных страданий и боязливых переживаний о том, какая сумма будет стоять в конце месяца в расчётном листке.

> «Я могла сломаться от этого. До этого почти и дошло — моя смелость, моё достоинство были потрясены. Меня могли бы унизить воспоминания, если бы я не утратила, так сказать, всяческое воспоминание. Я просыпалась со страхом, со страхом я шла на фабрику. Я работала как рабыня; обеденный перерыв был разрывающей болью; после завершения смены в 5:45 снова дома, я тут же пыталась выспаться (что мне не удавалось) и пораньше проснуться. Время ощущалось как невыносимая тяжесть. Страх лежал на субботнем дне и на воскресном утре. Причиной этого страха были приказы.
>
> Чувство личного достоинства, как его создало общество, было сломлено. (…) Наконец-то возникает понимание собственной значимости. Класс тех, кто ничего не стоит — ни в какой ситуации — в глазах других (…), и кто никогда не будет ничего стоить, что бы ни произошло, не смотря на последнюю строфу гимна Интернационала».

В 1936-м году по металлургической промышленности Франции прокатывается волна стачек и захватов предприятий, которая, пусть и на очень короткий период времени, меняет всё. Вейль в это время на фабрике больше не ра-

ботала, полгода в шкуре обычной работницы ей, видимо, хватило за глаза. Но она зашла навестить бывших коллег:

> «Я навещала товарищей на фабрике, на которой я проработала несколько месяцев. Я провела с ними несколько часов. Радость зайти в фабричное здание с разрешения охраняющего ворота улыбающегося рабочего. Радость видеть так много улыбок, слышать так много слов братского приветствия. Я чувствую себя среди товарищей в этих помещениях, где каждый чувствовал себя одиноким рядом со своей машиной, когда я там работала! Радость свободно ходить по этим цехам, где раньше каждый был прикован к своей машине, собираться в группы, разговаривать, принимать пищу. Радость вместо адского механического шума — вездесущего символа принуждения, которому подчинялись все — слышать музыку, пение, смех. Мы прогуливаемся среди этих машин, которым мы на протяжение стольких часов жертвовали субстанцию наших жизней — а они молчат, не ранят нас, больше не причиняют боли. Радость, пройти мимо начальства с поднятой головой. Наконец-то больше не нужна непрерывная борьба, чтобы сохранить собственное достоинство и сопротивляться почти непреодолимой потребности, подчиниться душой и телом. Радость видеть, как начальство пытается действовать доверительно, пожимать руки и больше не раздавать распоряжения. Радость видеть, как начальники теперь терпеливо ждут своего пропуска от стачечного комитета на проходной. Радость сообщить каждому, товарищами и начальству, что у тебя на сердце,

> плоть, оставить её одну скорчившуюся в углу и найти в невыразимой красоте пения и слов чистую и совершенную радость. Благодаря этому опыту я пыталась при помощи аналогии лучше осознать возможность полюбить божью благодать в собственном несчастье. Разумеется, во время тех богослужений страсть Христова вошла в меня раз и навсегда».

С началом Второй мировой войны она бежит в Южную Францию, затем в 1942-м году она выезжает вместе с семьёй в США, а оттуда вскоре перебирается в Великобританию. Она не может оставаться в дали от европейского театра сражений, ей хочется соучаствовать в происходящем. Ей необходимо испытывать «опасности и лишения этой великой борьбы». Вейль работает в Лондоне в правительстве де Голля, в «France libre». Для французского правительства в эмиграции она должна была разработать план по институциональному восстановлению французской государственности. Де Голль был очень недоволен морализаторским и не особенно практичным результатом. В по возможности опасной и тайной миссии в оккупированной Франции — таково было её собственное желание — Вейль было также отказано. Идея по созданию батальона медсестёр, чтобы противостоять боевому духу войск СС, также отвергается как несоответствующая государственным интересам.

В Лондоне она пишет свой единственный крупный труд, «Укоренение. Прелюдия к декларации обязанностей в отношении к человеческому роду» (L’Enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain), в котором обнаруживаются все противоречия её понимания политической практики. Вейль впадает в некое подобие раннесоциалистической утопии, в которой французское госу-

> ду вооружёнными людьми и разоружённым населением лежала пропасть, которую вполне можно сравнить с пропастью между бедными и богатыми».

В самом деле, кто как не (пусть и бывший) фашист может понять, что на войне, как писала сама Вейль, «власть превращается в деспотизм, а рабство — в убийство»? Её кредо было не отказываться от самостоятельного мышления в пользу какой-либо партии или какого-либо организованного интереса, так что боязнь запятнать свою репутацию таким знакомством отсутствовало у неё напрочь. Ей никогда не хотелось сказать: «я как социалистка» или «я как христианка», т.к. она понимала, что эти этикетки никогда не смогут охватить или хотя бы приблизительно описать всё её существо или всё мышление. (В принципе, именно об этом её последний памфлет «Замечания к полному запрету политических партий». По этой же причине она позднее отказалась от католического крещения). Это письмо к Бернаносу было воспринято французской радикальной левой, как минимум, с недоумением.

После испытанного разочарования в гражданской войне и произошёл тот часто упоминаемый поворот к христианской духовности, поездки в Италию, поиск правды, которая теперь могла находиться только где-то по ту сторону безнадёжности человеческого мира. Вейль переживает свою любовь к Богу как очень личную и интенсивную, что исследователи вроде Хайнца Абоша объясняют сублимированной эротикой:

> «Я мучилась сверлящими головными болями; любой звук причинял мне боль подобно удару; и тогда чрезвычайное усилие концентрации позволило мне покинуть мою несчастную

> там, где двое рабочих могли месяцами работать бок о бок, и один не знал, о чём думает другой. Радость жить среди немых машин в ритме человеческой жизни — этот ритм следует дыханию, биению сердца, движениям человеческого организма — а не в диктуемом часами ритме. Суровая жизнь, наверняка, скоро начнётся. Но об этом никто старается не думать, подобно солдатам во время отпуска в военное время. И чем бы это ни закончилось, главное — мы пережили это. Впервые и неискоренимо вокруг этих машин будут кружиться воспоминания о другом, а не о немоте, принуждении и подчинении; воспоминания, наполняющие сердце небольшим количеством гордостью и оставляющие немного тепла на металле. Полная расслабленность. Тут не ведают той полной энергии готовности к прыжку, той сочетаемой со страхом решимости, которую так часто можно наблюдать во время забастовок. Конечно, царит решительность, но она лишена страха. Все счастливы. Все поют, но не „Интернационал“ или „Молодую гвардию“; поют простецкие песни и это замечательно, некоторые устраивают розыгрыши, над которыми смеются просто от удовольствия слышать себя и других смеющимися. Злости никакой нет. Конечно, все рады дать начальникам почувствовать, что они больше не самые сильные. Теперь настал их черёд. Это будет им уроком. Но жестокости нет, просто веселье». («Фабричные дневники»)

Мне тоже один раз довелось наблюдать, как гнетущая атмосфера в цеху моментально превратилась в карнаваль-

ную после того, как конвейер надолго испустил дух из-за короткого замыкания. Ни один официозный праздник на предприятии не мог воссоздать в цеху столько радости и общительности.

Вейль помогала бежавшим из Германии социалистам, перевезла тайком чемодан с документами Льва Седова через границу и дружила с коммунистом-диссидентом Борисом Сувариным, который довольно рано начал критиковать сталинизм и французскую компартию как то, чем они тогда уже являлись: «отрицанием коммунизма».

Т.к. она всегда хотела всё узнать сама и во всём участвовать, Вейль побывала в Германии и Италии, чтобы рассмотреть «тоталитаризм изблизи». Ситуацию в Германии она воспринимала как «революционную», в которой, однако, всё оставалось «пассивным»; КПГ и НСДАП, единственные революционные силы, очень походили друг на друга в своём национализме и антисемитизме. Затем она отправилась в составе Интернациональной колонны Дурутти на Испанскую гражданскую войну, но это приключение довольно быстро закончилось по причине вызванной неуклюжестью Вейль травмы. Примерно здесь большинство так называемых исследователей пытаются выявить «решительный разрыв» с её предшествующей жизнью и мышлением: и на стороне «добра» она увидела много бессмысленного насилия и жестокости, что в её глазах полностью обесценивало дело социальной революции. Так, она описывает ужасы гражданской войны на республиканской стороне линии фронта в ставшем знаменитым письме к консервативному писателю Жоржу Бернаносу, бывшему участнику фашистской организации Action Française, т.к. она чувствует, что среди радикальных левых её никто не поймёт:

«До войны я ездила по Испании — довольно мало, конечно, но достаточно, чтобы полюбить этот народ, который просто нельзя было не полюбить; в анархистском движении я увидела естественное выражение его сильных и слабых черт, его легитимных и нелегитимных устремлений. CNT и FAI были удивительными организациями; они были открыты для всех и так, разврат, цинизм, фанатизм жестокость там встречались с любовью, духом братства и, в особенности, с требованием чести, которой настойчиво требуют униженные люди. Ведомых идеалом, мне казалось, было больше, чем тех, кого вели жажда насилия и хаоса. (...) Я больше не испытываю внутренней необходимости участвовать в этой войне, которая больше не является, как мне казалось ранее, войной голодных крестьян против землевладельцев и связанного с ними священства, но войной между Россией, Германией и Италией. (...) В подобной атмосфере быстро исчезает и самая цель борьбы. Т.к. цель можно установить только тогда, когда из неё можно её можно вывести всеобщее благополучие, человеческое благоденствие — а люди больше нечего не значат. (...) Эти заслуживающие жалости, замечательные крестьяне из Арагона, не смотря ни на что сохранившие свою гордость, не вызывают у солдат-добровольцев даже любопытства. Не было никакого нахальства, никаких оскорблений или жестокостей — по крайней мере, я такого не замечала, а я знаю, что за воровство и изнасилование в анархистских колоннах грозит смертная казнь — и, тем не менее, меж-